

А. СКАФТЫМОВ.

НЕИЗДАННАЯ ПОВЕСТЬ
Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО
„ОТБЛЕСКИ СИЯНИЯ“
среди его сибирской беллетристики.

САРАТОВ.

1 9 2 8.

Оттиск из сборника „Н. Г. Чернышевский“,
изд. Н.-Волжской юбилейной комиссии.

Неизданная повесть Н. Г. Чернышевского „Отблески сияния“ среди его сибирской беллетристики.

А. Скафтымов.

I.

В Саратовском музее Н. Г. Чернышевского хранится рукопись его повести „Отблески сияния“. Рукопись состоит из листов почтового формата, распределенных на четыре группы, каждая с отдельной нумерацией. Первая группа содержит в себе 29 листов (58 страниц); здесь помещается: 1) письмо Чернышевского к А. Н. Пыпину (см. здесь, приложение № 1) и 2) текст первой части романа. Листы перенумерованы карандашом рукою самого Чернышевского. При этом последняя страница первой части показана цифрой 58, а первая страница второй части занумерована цифрой 69. Очевидно, существовало еще 11 страниц первой части. Вторая группа содержит в себе 20 таких же листов. Здесь помещается текст второй части романа. Текст тоже прерывается на полужае. Эта часть имеет, кроме карандашной, вторую пагинацию, начинающуюся с цифры 1.— Третья группа содержит в себе 11 листов (22 страницы, последняя страница чистая). Здесь помещен текст вставок и переделок к первой части романа. Особая пагинация чернилами дает страницы А 1—А 21.— Четвертая группа содержит в себе 19 листов (38 страниц, последняя чистая). Пагинация чернилами дает страницы 1—37. К этому прибавлен особый листок с заглавием: „Отблески сияния“. К листку пришит отрезок транспаранта, по которому была писана рукопись. Чернышевский его присоединил для удобства счета тех строк в рукописи, к которым даются вставки на особых листах.

Рукопись написана очень мелко. Примерный подсчет букв показывает, что при печатании рукопись заняла бы более 10 печатных листов. Корпусной текст рукописи при этом всюду перебит множеством правок и вставок на полях и между строк.

В 1916 году эта рукопись поступила в Рукописное отделение Академии Наук от действительного члена Якутского Отдела Русского Географического Общества и члена Якутского Суда Дмитрия Ивановича Меликова¹⁾. Сын Николая Гавриловича, Михаил Николаевич Чернышевский, в особой записке, приложенной к переписанному им экземпляру „Отблесков“,²⁾ сообщает, что Д. И. Меликов имел намерение в 1909 году издать „Отблески“ в Якутске, но Михаил Николаевич остановил его в этом намерении. В результате их переписки рукопись от Меликова поступила в Академию Наук³⁾.

Когда и каким образом рукопись оказалась в руках Д. И. Меликова?

№ 2. ¹⁾ Его препроводительную бумагу см. здесь, в конце статьи, приложение № 2.

²⁾ Текст повести М. Н. Чернышевским переписывался с копии, полученной им от Д. Е. Меликова в 1914 году.

³⁾ Записку М. Н. Чернышевского см. в приложении № 3.

Сам он в препроводительной бумаге в Академию Наук сообщает, что рукопись была ему прислана от самого Ник. Гавр. Чернышевского „в мае 1884 года, с посторонним лицом“. О „присылке ее было дано личное обещание Николая Гавриловича“ при посещении его Меликовым в Вилюйской тюрьме весной 1883 года.

Эту версию передачи рукописи оспаривает Мих. Ник. Чернышевский, считая такое объяснение невероятным и путаным. В мае 1884 года Чернышевского уже не было в Сибири. По его мнению „Отблески сияния“ являются одною из тех рукописей, „которые захватывались“ у Чернышевского „при неоднократных обысках после попытки Мышкина“.

О своем посещении Вилюйской тюрьмы весной 1883 года Д. И. Меликов рассказал в 1921 году в своих воспоминаниях¹⁾. Между прочим здесь он говорит о литературных рассказах, которые ему приходилось слышать от Н. Г. Чернышевского. „Он рассказывал,—пишет Меликов,—как будто бы когда-то написанный и уничтоженный роман, в духе переданного им мне впоследствии романа „Отблески сияния“. Об обстоятельствах передачи подробнее Меликов не говорит и здесь. Однако, упоминает опять об обещании, которое дал ему Чернышевский, посылать ему свои рукописи. „Много жаловался Н. Г. на скуку и безделье, указывая на то, что пробовал писать и отправлять в печать через непосредственное начальство. Рукописи брали, а печатать не печатали и не возвращали, а потому он продолжал писать и сжигал затем все написанное. Рассказывая об этом, Н. Г. обещал посылать свои рукописи мне, в мое полное распоряжение, при чем указывал, что при решении печатать какую-либо рукопись я должен посылать ее Пыпину и пояснял, что „там, в редакции, разберут, там знают мою руку“. ²⁾

У нас под руками имеется документ, который удостоверяет правильность сообщений Меликова о том, что между ним и Чернышевским, действительно, было общение не официальное, а вполне частное, основанное на доверии.

В своих воспоминаниях Меликов между прочим сообщает следующее: „В разговоре о библиотеке Николай Гаврилович обещал мне выслать часть книг в мое распоряжение, что и исполнил. Он выслал мне две большие суммы книг. Преимущественно были периодические издания. Я в то время еще не помышлял иметь свою библиотеку, а потому передал посланные Николаем Гавриловичем книги для основания и начала библиотеки политических и государственных ссыльных, что было сделано благодаря знакомству с земляками города Пензы Странденом и Юрасовым (оба были сосланы по делу Каракозова....). Книги мне доставил тот же верный казак Л. К.“³⁾.

В музее Н. Г. Чернышевского имеется письмо к А. Г. Кокшарскому⁴⁾, которое является препроводительным к книжной посылке, направляемой Чернышевским к нему для передачи Д. И. Меликову. Книги входили в библиотеку самого Чернышевского, собравшуюся у него за долгие годы его пребывания в Сибири. Чернышевский отобрал сохранившиеся у него старые журналы (главным образом

¹⁾ „Красный север“, 1921 г., № 2, апрель (Якутск), с. 33.

²⁾ Там же, с. 34. „Разберут“— в том смысле, как поясняет ниже Меликов, что разберут почерк, „весьма мелкий и убористый“.

³⁾ Там же, с. 34.

⁴⁾ Кошкарский был помощником Вилюйского Окружного исправника. Письмо не было напечатано. Печатается здесь, см. приложение № 4.

„Вестник Европы“ и „Отечеств. Записки“ за годы 1872—1882) и направил их к Д. И. Меликову. Письмо свидетельствует о добром и доверчивом отношении Чернышевского к Меликову. При ином отношении такое общение между ними было бы невозможно. Известно, что к лицам администрации, которые Чернышевскому не нравились, он не стеснялся взять резко враждебный тон (так, им совсем не были приняты губернатор Черняев и епископ Дионисий, пожелавшие посетить его, когда были в Вилуйске).

Об „Отблесках“ в письме нет речи, но самый факт посылки Меликову книг и обращение к нему, как к доброму знакомому, с небольшой просьбой (о ящиках, в которые книги были упакованы)—делают вполне возможным то необходимое доверие Чернышевского, при котором могла состояться передача ему рукописи „Отблесков“.

Таким образом, версия Меликова о появлении в его руках рукописи „Отблесков“ представляется вполне вероятной. Год 1884-ый, очевидно, поставлен ошибочно, вместо 1883 го. И в воспоминаниях годом выезда Чернышевского из Сибири Меликов считает ошибочно 1884-ый. Здесь явное запямятование, но перепутан год, однако, не забыт факт.

Когда роман был написан? Даты нет ни в препроводительном письме к Пыпину, ни на рукописи романа. По сличению бумаги, на которой написан роман, и бумаги, на которой писались Чернышевским из Сибири письма к жене и детям, можно предполагать, что роман писался в 1882 году, во всяком случае, не раньше второй половины 1879 года (только с этого времени имеются письма, написанные на бумаге, тождественной с бумагой рукописи „Отблесков“. Письма 1882 г. почти все сплошь писались на такой бумаге). Основание не очень прочное, но пока для нас единственное.

2.

К беллетристике у Чернышевского тяготение было издавна. Еще студентом в 1848—49 г.г. он пишет повести. В конце 1848 и начале 1849 г. пишется „История о Жозефине“. В чем состояла эта история, —остается неизвестным. По записям в Дневниках Чернышевского можно лишь судить, что Жозефиною называлось живое лицо, в повести она называлась Казимирией, и история о ней Чернышевскому нужна была в качестве иллюстрации к теоретической статье о „Необходимости отрицательной стороны воспитания“, которую тогда Чернышевский писал. В конце февраля 1849 г. повесть была закончена и переписана и 5 марта передана для напечатания в редакцию „Современника“. Из записи 10 марта узнаем, что у Ч. были и раньше подобные попытки печататься, но неудачные: „Нехорошо,—пишет он,—что до этого времени нет ответа из редакции. Это нехорошо, если так погибнет как прежние, которые отдавал в Отеч. Записки“. ¹⁾ Такая же беспокойная запись в ожидании ответа имеется еще 8 июля. Далее об этом нет никаких упоминаний. Очевидно, повесть для напечатания не была принята.

В конце 1849 и нач. 1850 г. пишется новая повесть. Ее главная тема и контуры сюжета записаны в Дневнике 8 окт. 1849 г. Речь идет о том, „как трудно всякому человеку следовать своим убеждениям в жизни“. Это положение имеется в виду иллюстрировать изображением всяческих внешних неловкостей и внутренней моральной стесненности,

¹⁾ Мы не даем ссылок на страницы „Литературного наследия“, т. I. Статья писалась, когда Дневники еще не были напечатаны.

какие налагаются на человека отношениями с близкими людьми: имеется в виду положение мужа и жены, отношения родителей к детям и детей к родителям, особенно при женитьбе и выходе замуж. В половине ноября повесть отдается для прочтения и оценки проф. Никитенке (запись в дневнике 22 ноября 1849 г.). Отзыв Никитенки неизвестен. По дальнейшим записям в дневнике видно, что повесть потом переписывалась и предназначалась к передаче Краевскому (см. записи 15 декабря, 16, 17, 18, 20 дек., 11, 13, 14, 20 января). Была ли она передана ему, остается тоже неизвестным. Возможно, что повесть осталась недоработанной; Ч. был, вероятно, отвлечен экзаменами и другими заботами, связанными с окончанием университетского курса¹⁾.

В конце декабря 1850 г. писалась повесть „Отрезанный ломоть“. И эту повесть Ч. имеет в виду предложить Краевскому, на этот раз вместе с другими, уже не беллетристическими вещами, на выбор. Запись об этом в дневнике кончается словами: „в этот раз уж, верно, выйдет“. Для нас это служит новым указанием на то, что в прошлом, имелось уже несколько подобных неоправданных попыток (ср. зап. 11 и 12 февраля 1850 г.).

Родственники Ч. свидетельствуют, что занятия беллетристикой Ч. не прекращал и в Саратове²⁾.

Никаких следов от этих юношеских вещей, в виде черновиков, листков и отрывков, в настоящее время не имеется.

Потом, когда Ч. вошел в журнальную работу, он, вероятно, для повестей уже не имел досуга. Известно, впрочем, что он переводил иностранные романы и печатал в „Современнике“. Нужно также вспомнить некоторый намек на планы каких-то новых повестей, которые иногда занимали его мысли. „Пощадите мою жизнь—шутливо пишет он в одном из писем к Н. А. Добролюбову:—она нужна для того, чтобы я написал ту повесть, в которой хочу изобразить Вас“³⁾.

С арестом Ч., когда публицистика для него была уже совершенно невозможна, в крепости и в Сибири его, намерения, планы и труды идут преимущественно к беллетристике. Пишется роман „Что делать?“.

За ним вслед „Алферьев“, „Повести в повести“ и „Мелкие рассказы“.

В значительной мере Ч. в этих повестях преследует прежние публицистические, наставительные цели. По его замыслу целая серия романов, рассказов и повестей должна была явиться в качестве особой энциклопедии полезных знаний⁴⁾. Беллетристическая форма принималась лишь как наиболее легкая для ленивого читателя. Цензурные требования „невинности“ в содержании повестей заставляют Ч. обходить наиболее дорогие и одновременно наиболее опасные темы. Идеологическая насыщенность романа „Что делать?“ сменяется

¹⁾ Может быть, об этой повести идет речь в письме А. Н. Пыпина к Д. Л. Мордовцеву: „недавно читал он (Н. Г. Ч.) отрывок из повести, рассказа, или как угодно назови это, конечно, не напечатанной; он говорил мне, что ее написал один из его приятелей, но я с большою вероятностью предполагаю, что писал он ее сам; все в ней—его, и, между прочим, там был один характер, совершенно снятый с него—характер не из обыкновенных, пошлых характеров. Письмо писано в ноябре 1850 г. Б. Б. Глинский. „А. Н. Пыпин“. „Историч. Вестник“, 1905, I, с. 282.

²⁾ См. нашу статью о романе „Что делать?“ „Сборник“ Н. Г. Чернышевский изд. Нижне-Волжского о-ва краеведения. Саратов, 1926, с. 94.

³⁾ Письмо без даты. „Переписка Чернышевского“. Изд. „Московский Рабочий“, Москва—Ленинград, 1925, с. 102.

⁴⁾ См. письмо к жене из Равелина 5 окт. 1862 г. Напеч. в кн. М. Лемке. „Политич. процессы в России 1860-х годов. Госуд. изд. 1923, с. 219—220.

мещанским анекдотом в „Мелких рассказах“. Правда, и здесь, как нам уже однажды приходилось заметить, за невинностью анекдота прозревается нравоучительная ирония автора и за просветами всяческих недомолвок и намеков в неприязнательном с виду анекдоте узнаются его просветительные намерения¹⁾). Однако, здесь уже нет ни той идеологической широты, ни решительности призывов, ни той остроты социального прогноза, который был развернут в „Что делать?“.

Важным сделалось печатание само по себе, нужна была занимательность и преимущественно такой интерес, который дал бы возможность хорошей журнальной оплаты. Ч. был теперь занят главным образом тем, чтобы материально поддержать и обеспечить оставшуюся семью.

В Сибири Ч. писал очень много и в самых различных жанрах. Выискивая всякие возможности создать нормальное обеспечение семье, Ч., естественно, мог остановиться только на литературном заработке. И из всех родов литературной деятельности, в данных обстоятельствах, наиболее подходящей и возможной для этих целей представлялась ему деятельность беллетриста. Об открытом печатании не могло быть и речи. В литературе запрещено было даже упоминание его имени. Некоторую надежду Ч. имел на печатание под вымышленными именами. Кроме того, до 1871 года он был уверен, что по миновании срока, установленного приговором²⁾, разрешение печататься ему будет дано. В ожидании этого времени Ч. готовил материалы.

„К осени,—писал он А. Н. Пыпину 29 апр. 1870 г.,—устроюсь где-нибудь так, что буду иметь возможность наполнить книжки журнала, какой ты выберешь, моими работами. Нужнее и выгоднее для журнала, конечно, работа беллетристическая. Поэтому я и готовил больше всего в этом роде“³⁾).

Это письмо было получено А. Н. Пыпиным в июле 1870 года вместе с большой пачкой бумаг, где содержались рукописи Ч. с его романами, повестями и драмами. Сам Ч. о присланном отзывался таким образом:

„Кое-что, может быть, окажется пока еще неудобно для печати. Но много есть и такого, что совершенно удобно, даже похвально с точки зрения благонравности. Например, нечто в роде Арабских сказок и Декамерона по форме: роман; в нем бесчисленные вставные повести и драматические пьесы,—каждая годится для печати особотут совершенно пригодного листов полтора ста журнального формата. Действие основного рассказа в Сицилии, потом в Соедин. Штатах, в Венецуэле, на островах Тихого океана. Поэтому можешь судить: совершенно невинно. Но не пусто. Этому можешь поверить; хотя бы я и уверял, что пусто, не поверил бы ты. Это, главным образом, идиллии, эфирная поэзия: все добры, все честны, все счастливы,—и во всех крѣткое чувство. Есть и о России,—есть и о ней такое, что годится. Много, много у меня наработано. Талант положительно есть. Вероятно, сильный“⁴⁾).

В пачке бумаг содержались следующие произведения: 1) Пролог пролога; 2) Дневник Левицкого; 3) История одной девушки;

¹⁾ См. нашу заметку к „Мелким рассказам“. Сборник Н. Г. Чернышевский“. Нижне-Волжск. о-ва краевед., 1926, с. 3.

²⁾ Срок каторги по приговору кончился 10 августа 1870 года.

³⁾ „Чернышевский в Сибири. Переписка с родными“. I, с. 17.

⁴⁾ Там же, с. 18.

4) Драма из русской жизни; 5) три первые главы рассказа „Потомок Барбаруссы“; 6) Кормило кормчему и 7) Знамение на кровле.

Одновременно Ч. было послано письмо М. М. Стасюлевичу, издателю „Вестника Европы“. Ч. предлагал ему для напечатания свои вещи: стихотворение „Гимн деве неба“, отрывок из повести „Академия лазурных гор“ и стихотворение из Видвесты. Все эти произведения были подписаны вымышленным именем „Дензиль Эллиот“. В письме Ч. объясняет, почему и для чего он избрал этот псевдоним, попутно отчасти характеризуя и приложенные произведения. Эллиот — популярная тогда фамилия английского романиста ¹⁾ должна была привлечь внимание публики: „можно ожидать, судя по фамилии, и этот стоит того, чтобы читать его“, — рассуждал за читателя Чернышевский. „Читают. „Гимн деве неба“. — Что такое? Удивительно, что такое. Хорошее; правда; но что-то небывалое в нашей памяти. Серьезная оратория во славу Артемиды I... Ясно: Дензиль Эллиот до того сжился с миром понятий древней Греции, что, вероятно, мелки и скучны ему мысли даже и Английской обыденной, газетной жизни... Таков он. И как человек неглупый, выбрав для дебюта „Гимн деве неба“, он будет продолжать свою деятельность в прозе. Он пишет для денег. Только проза дает серьезные суммы денег“ ²⁾.

Ясно, что Ч. в этих вещах был озабочен преимущественно денежною стороною. В целях успешного печатания он искал возможной „невинности“ в содержании и возможно большей внешней привлекательности и занимательности. Насколько, действительно, его произведения отвечали этому последнему требованию — это другой вопрос.

Все присланное А. Н. Пыпину и М. М. Стасюлевичу давно известно. Все это было напечатано в 1906 г. в I части X-го тома собрания сочинений Ч.

Кроме стихотворений („Гимн деве неба“, „Из Видвесты“), здесь нет ни одного законченного произведения. В замыслах автора рисовались какие-то огромные циклы повестей, имеющих внутри себя известную самостоятельность и в то же время объединенных какой-то общей инстанцией. Посылая часть своих рукописей, об этом Ч. писал жене:

„Эта пачка — незначительная часть приготовленного мною для печати: я собрал только то, что не нужно мне для справок. Вообще то, что я пишу, связано — один роман с другим, другой с третьим, — так что многое, готовое у меня, должно оставаться в моих руках до отделки следующих рассказов“ ³⁾. Были ли завершены в какой-нибудь мере эти замыслы — неизвестно. Все, что на этот раз было прислано, представляет лишь образцы намеченных циклов.

„Другим нельзя“, „Потомок Барбаруссы“, „Кормило кормчему“ и „Знамение на кровле“ должны были входить в цикл „Книги Эрато“. Вся книга должна была составить собою „Энциклопедию в беллетристической форме“. „Это будет коллосальное по размеру“, — писал о ней Ч. ⁴⁾. Целостного движения в „Книге Эрато“ не предполагалось. Общая композиция должна была развернуться в виде „бесчисленных эпизодов всяческого содержания“, объединенных между собою общностью места, где эти вещи рассказывались бы или разыгрывались и давали бы повод к всевозможным беседам на разные темы.

¹⁾ Псевдоним Марии Эванс (1818—1881).

²⁾ Цитируется из письма М. М. Стасюлевичу, посланного Н. Г. одновременно с пачкой рукописей и вместе с письмом к Пыпину. См. собр. соч., X т. I, с. 1—3.

³⁾ 12/I, 71: „Чернышевский в Сибири“, I, с. 25.

⁴⁾ Собр. соч., т. X, ч. I, с. 29—30.

„Другим нельзя“ представляет собою ряд сцен, в основе своей имеющих определенную тему об отношениях мужа и жены и о любви жены к другому. Но тема только намечена, драма оборвана. То, что дано не дает возможности судить о мысли автора с достаточной определенностью. Об этой вещи находим некоторые замечания в письме Ч. к жене. Драма должна была состоять из 4-х актов, посылалось только два с половиною акта, остальные предполагалось дослать после. „Они так безнравственны,—пишет Ч.,—что и подумать страшно: муж учит жену всему дурному: „Другим нельзя, а тебе, Леночка, можно, потому что ты милая девица“. Эта драма (и несколько других моих тоже) из репертуара здешнего театра моих русских товарищей“¹⁾.

„Потомок Барбаруссы“ тоже является отрывком. В дальнейших главах рассказ должен был охватить, по словам самого Ч., „историю французской революции и т. д. до самых последних европейских событий“. В тех трех главах, которые даны, рассказано о постройке фамильной виллы Кагель—Бельпассо и о тщеславных стремлениях ее строителя и владельца, князя Альфонсо. Имеются проблески иронии по отношению к некоторым фигурам рассказа, но все же установить какую-нибудь общую точку зрения автора по этим отрывкам не представляется никакой возможности.

Что касается „Кормила Кормчему“ и „Знамения на Кровле“, то и они являются лишь уголком какого-то иронического памфлета, в котором публика должна была познакомиться „с различными системами экзегетики и т. п. нелепостей“. К этому должно было прибавиться „знакомство с политической экономией и всяческими науками“.

Повесть „Тихий голос“ посылалась, как образец из цикла „Книги Софии“. Повесть завершена в большей степени, чем другие вещи, присланные одновременно. В рассказе ясно проведена тенденция о необходимости изменения взглядов и установлений, определяющих половые отношения между мужчиной и женщиной. „Тихий голос“, это—голос физиологический половой потребности, ищущей себе выхода.

Комедия „Великодушный муж“ и пастораль „Мастерица варить кашу“—должны были быть шутками-фарсами. Обе вещи обрываются на середине. Ни та, ни другая не имеют достаточного оформления для того, чтобы можно было судить о намерениях автора²⁾.

„Пролог Пролога“ и „Дневник Левицкого“ занимают особое место. Правда, и они являются отрывками какого-то большого целого и внутри себя не имеют законченности, осуществление замысла в них только намечено, но всё же и по тем страницам, какие даны, контуры авторской идеи проводятся более ощутимо, чем в каком-либо другом произведении, включенном в эту присланную пачку³⁾. Но не это главное, что их выделяет. Здесь Ч. касается таких сторон

1) „Ч. в Сибири“, I, с. 25. О драматических представлениях и пьесах Чернышевского, разыгранных его товарищами в Сибири, см. воспоминания. Шаганова, „Ч. в каторге и ссылке“. СПб. 1907; П. Николаев „Личные воспоминания о пребывании Ч. в каторге“ М. 1906. Его же „Ч. на каторге“. 1917; Ср. Э. Пекарский „Беллетристика Ч-го“. Русское Богатство, 1900, № 10.

2) П. Ф. Николаев свидетельствует, что комедия „Другим нельзя“ и „Великодушный муж“ являлись одною и тою же пьесой. „Н. Г. переделывал и изменял свои вещи. Комедия „Другим нельзя“ была, действительно в двух действиях, но с заключительной отдельной картиной, состоящей из одной сцены монолога мужа“. См. собр. соч. т. X, ч. I, с. 255. Ср. Николаев „Личные воспоминания о пребывании Н. Г. Чернышевского в каторге (в Александровском заводе 1867—1872 г. г.)“. Москва. 1906.

3) Кроме разве „Тихого голоса“.



своей внутренней жизни, воспроизводит и освещает такие моменты своего прошлого, трактует и освещает такие вопросы своего мировоззрения,—которые поднимают роман на высоту социального значения и еще раз вводят читателя в область дорогих для Ч. общественных интересов. Вопросы крестьянской реформы, поведение представителей разных социальных групп около этого события, позиция и роль в этом деле самого Ч.—все это делает роман живым документом ушедшего исторического момента, а для своего времени все это ставило роман в категорию тех немногих литературных произведений, в которых читатель находил бы определенный общественный призыв. На эту сторону романа читателями естественно прежде всего и было обращено внимание. Именно это и побудило революционных деятелей того времени вывести роман в публику хотя бы подпольными средствами ¹⁾).

Но все же, нужно заметить, главная магистраль романа проходит не в этом круге вопросов. Не эта линия связывает роман в один узел. Подбор и соотношение персонажей, связывающие их внешние отношения, объединяющая нить интриги, поскольку она здесь имеется, указывают, что Ч. и здесь преимущественно занят был вопросами об отношениях между мужчиной и женщиной. Волгин и его жена, отношение Волгина к увлечениям жены, характер этих увлечений; Савеловы, муж и жена, ее увлечение Нивельзиным, отношение к этому ее мужа, собственное ее поведение в этом случае, негодование Волгиных на ее нерешительность, дряблость и отсталость ее мыслей; отношения между Дашей и Миرونным; развратное животное Чаплин и его чувства к Савеловой; угодничающий муж, продающий жену, и над всем этим опять и опять примерное отношение Волгиных, разумность их взглядов,—вот стержневое наполнение „Пролога пролога“; эта линия ведет движение и интригу рассказа. Общественный элемент располагается вокруг этой магистрали, лишь иногда прерывая ее. В „Дневнике Левицкого“ общественный элемент отодвинут еще дальше. Левицкий и Анюта, как они сошлись и почему разошлись; Анюта и Иван Ильич—почему они понравились друг другу и как у них сложились отношения, почему так, а не иначе; Левицкий и Мери, ее очарование, почему этому очарованию поддался Левицкий, новый характер его чувства по сравнению с чувством к Анюте; Илатонцев и Дедюхина, Илатонцев и Мери, Левицкий и Настя, психология ее порыва, супруги Дедюхины, отвратительное в их адюльтере;—где же элементы порока и чистоты в этих разнообразных примерах отношений между мужчиной и женщиной?—вот тема „Дневника Левицкого“.

Это несколько не умаляет того общественно-политического содержания „Пролога“, на какое до сих пор обращалось преимущественное внимание всеми, кому приходилось писать о „Прологе“ или упоминать о нем. И сам Чернышевский весьма ценил этот элемент в романе и совершенно ясно понимал, в какие цензурные теснины попадет эта вещь при тогдашних условиях печатания в России.

¹⁾ См. об этом „Ч. в Сибири“. II, с. 273. Ср. Русское Богатство, 1907, I, с. 75. С. К и с т я к о в с к и й (Лавров), „М. П. Драгоманов в его письмах“ Русск. Мысль, 1911, 9, с. 140—150. Ср. К о л о с о в в отзыве о кн. „Ч. в Сибири“ (существенные дополнительные справки). Гол. Мин., 1913, № 7. — Элементы социальных воззрений Ч-го в романе „Пролог“ извлекались и освещались много раз. См. Ю. С т е к л о в. „Ч. и русское общество“. Кр. Новь, 1927, № 9.

„Прошу напечатать,—писал он в сопроводительных замечаниях к посланной А. Н. Пыпину рукописи:—прошу напечатать, сколько возможно по цензурным условиям. Если уцелеет хоть половина, и то хорошо. Я писал с мыслью издать во французском или английском переводе. В русском издании надобно выбросить все, что относится до литературных занятий Волгина, и вставить, где понадобится, по две—по три фразы, в которых об'яснилось бы, что он адвокат при коммерческом суде (эти адвокаты были уж и в те времена ¹⁾)“. Несомненно, работая над „Прологом“, Ч. имел в виду попробовать, возможны ли для него теперь высказывания на общественно-политические темы, хотя бы в очень скромной и затушеванной форме. Он на это еще надеялся.

Но все же остается фактом, что и в этой вещи преобладающее поле внимания и разработки отдано не социально-политическим, а индивидуально-этическим вопросом и именно в области отношений между мужчиной и женщиной. И это здесь приходится подчеркнуть, как явление чрезвычайно характерное для беллетристики Ч.

К таким вопросам Ч., как мы видели, имел особенное тяготение во всех юношеских беллетристических планах, по крайней мере, в тех, о которых имеются записи в „Дневниках“. Об этом же больше всего говорится в романе „Что делать?“ О том же Ч. пишет несколько раз в „Мелких рассказах“, в „Алферьеве“, в „Повестях в повести“. И в сибирской беллетристике эти же темы занимают преобладающее место.

В декабре 1871 года Ч. был переведен в Вилюйск. Надежды на облегчение положения рушились. Через все письма Ч. к жене проходит постоянное сожаление о том, что он не в состоянии материально помогать ей и детям. Он чувствует себя виноватым. И опять он вновь возвращается к надеждам на единственное средство—печататься. О публицистике, конечно, и речи быть не могло. Но он надеется, что, может быть, ему разрешат помещать научные статьи, а главным образом беллетристику. „Я виноват,—пишет он,—я был беззаботен к приобретению денег... „Могу ли исправить? Попробую“... „С официальной точки зрения, может казаться соединенным с некоторыми неудобствами единственный способ, каким я способен зарабатывать деньги—литературный труд. Это потому, что официальный мир и публика знают меня лишь как публициста. Я был публицистом. Так. И не имел досуга писать, как ученый. Но, более чем публицист, я ученый. И кроме того, что ученый, я умею быть недурным рассказчиком; от нечего делать я сложил в своих мыслях едва ли меньшее число сказок, чем сколько их в „Тысяче одной ночи“; есть всяких времен и всяких народов; сказки—это ни мало не похоже на публицистику“ ²⁾.

В 1875 году Ч. имел в виду, очевидно, отправить А. Н. Пыпину новую литературную посылку. В письме к нему 8 марта 1875 года упоминается о „корреспонденции, имеющей денежный характер“. Имеется в виду что-то послать, но что именно и каким образом—это держится в совершенном секрете. О посылке нет в дальнейшем никаких известий, очевидно, она не состоялась.

После попытки Мышкина (июль 1875 г.) освободить Чернышевского у него был произведен обыск. В записной книжке А. Н. Пыпина об этом имеется запись.

¹⁾ Все это для того, справедливо замечает М. Н. Ч—ий, чтобы устранить малейший намек на то, что под фамилией Волгина может скрываться Чернышевский. Собр. соч. X, I, с. 29.

²⁾ 25, I, 1875 г. „Ч. в Сибири“, I, с. 135—136.

„Конечно, ничего не было найдено,—пишет А. Н. Пыпин,—кроме стихотворения—„К Деве Неба“ в нескольких им переписанных экземплярах. Кроме того, задержано было одно письмо ко мне—отличавшееся от других именно смелостью и резкостью тона. В письме было также стихотворение, где описывалась борьба каких-то мифологических царей—с местными словами и множеством примечаний, объяснявших эти местные слова и всякие другие подробности. Стихотворение это назначалось для печати“¹⁾).

В письме к жене 21 июля 1876 г. Ч. пишет, что он и теперь продолжает писать „сказки“, хотя уже с меньшей настойчивостью, чем прежде. Количество написанного было огромно. Сохранять написанное Ч. теперь уже не считал возможным. „...За Байкалом я тоже исписывал очень много бумаги, почти каждый день без пропуска. И со мною жили товарищи, читавшие мои сказки (то были почти все только сказки); некоторые были хорошие; но время шло, содержание их ветшало, я бросал в печь одну за другою“... „Здесь—иногда я принимаюсь писать сказки; но не долгие периоды, а месяца два, много три; а между ними сначала полугоды, а после и целый год, а вот, напоследок, и года полтора, я полагаю,—такого времени, что я не имел охоты писать для бросания в печь“²⁾ О том же он пишет в письме к А. Н. Пыпину 14 авг. 1877 г. „И когда бы можно было печатать, что пишу, тебе можно было бы отдыхать. Я пишу все романы. Десятки их написаны мною. Пишу и рву. Беречь рукописи не нужно: остается в памяти все, что раз было написано. И как я услышу от тебя, что могу печатать, буду посылать листов по двадцати печатного счета в месяц“³⁾).

„Отблески сияния“, очевидно, являются единственным уцелевшим осколком из всего этого обилия напрасного труда.

3.

Рукопись „Отблесков сияния“, как мы видели, не сохранилась полностью. Вероятно, некоторые листки были утеряны. Но утеряно, вероятно, немного. Вторая часть начинается с того момента повествования, который уже ясно определился в конце первой части, и кончается она таким моментом, который, по смыслу рассказанного, подходил уже к замыканию. Но если бы этих случайных дефектов и не было в рукописи, мы все же имели бы, по примеру почти всей сибирской беллетристики, произведение незаконченное. Рассказ только начат. Однако написанное Чернышевский считал достаточным, чтобы увлечь читателя и создать в нем интерес к дальнейшему. Продолжение обещалось „через два, три месяца“.

Почему-то эту написанную и приготовленную к отсылке часть он называет „Отделом вторым“. Очевидно, этому отделу должно было предшествовать что-то, но об этом в имеющихся у нас материалах нет никаких упоминаний.

Едва ли, Ч. предполагал придать „Отблескам сияния“ особую живость действия. Свою литературную изобретательность он направлял не к этому. Ему нужны были такие формы, которые с большим удобством позволили бы вместить в рассказ возможно большее количество полезных сведений и моральных назиданий. В „Отблесках сияния“ он, очевидно, более всего был заинтересован психологическим анализом, который в его глазах отождествлялся с логическими

1) „Ч. в Сибири“, II, с. 217 (примечание).

2) Виллюск, 31 июля 1876 г. „Ч. в Сибири“, II, с. 38.

3) „Ч. в Сибири“, II, с. 199.

операциями идеально „рассудительного“ ума. Весь рассказ построен в виде беседы двух, иногда трех, персонажей. Лица поставлены в определенные отношения друг к другу; никаких предварительных пояснений автор не дает, вся сумма внешних и внутренних связей и отношений выясняется в беседе лиц между собою. Иногда кое-что в этом бесконечном разговоре звучит загадкой, какая-то частность прошлого до времени остается не раскрытой и обнаруживается лишь потом, когда автор пожелает дать разрешение создавшейся таким образом неясности. Чаше всего загадочность, которая, очевидно, по замыслу автора должна была бы интриговать читателя, создается из особо обставленных затруднений в понимании мотивов поведения какого-нибудь лица, участника этого разговора, что-то скрывающего, о чем-то умалчивающего. Мотивы этих недоумолвок или умолчаний скоро получают обстоятельное разъяснение: они или разгадываются рассудительным собеседником, или сам тающий и молчащий, помучив собеседника, в конце концов со всею полнотою объяснит сам себя. В характере переживаний и убеждений собеседников и заключается вся содержательность и поучительность рассказа.

Первая часть „Отблесков“ озаглавлена „Под верандою“.

Под верандою барской усадьбы, в семи верстах от русского губернского города, сидят мать и сын и ведут беседу. Сын недавно приехал из Англии, где он занимается какими-то науками. Он — ученый. Сын только-что записывал за матерью какие-то семейные предания. Разговор открывается перерывом этой записи и благодарностью сына за рассказы матери. Только-что продиктованный рассказ о прошлом побуждает обоих обменяться некоторыми замечаниями о „матери его отца“ (т. е. о бабушке героя). Она когда-то развелась с мужем. Рисуетя поступок мужа, принудившего свою жену ради ее счастья развестись с ним. Мелькает привычный для Ч. образ „великодушного мужа“. Мать, отдаваясь воспоминаниям, рассказывает о красоте этой женщины: когда ей уже было 57 лет, она, пятидесятилетняя, затмевала молодых женщин. Ассоциации бегут. Далее идет речь уже о красоте сестры героя — Лореньки. Герой, очевидно, любит сестру, он слушает мать с восторженной улыбкой. Но он почему-то сдерживается. Улыбка исчезает. Мать беспокоится, любит ли он сестру. Тогда „улыбка, прежде очень легкая и заменившаяся вдумчивым изменением в очертании губ, после нескольких секунд молчания возвратилась обозначившеюся очень сильно“. Мать ласково упрекает сына, почему он последние три года не приезжал к ней. Сын отмалчивается. Мать понимает, что он чего-то не хочет сказать. Сын томится, думает про себя. Ему нужно спасти Лореньку. Ради этого он не пощадит матери. В его руках что-то хрустнуло¹⁾. У него план: нужно отсюда увезти мать, тогда Лоренька, освобожденная от ее присутствия, будет свободна. Но когда же он пойдет к Лореньке? Мать сейчас уедет с визитами, но одна она отправляется или не одна? Когда она вернется? Следует длинный ряд соображений и догадок. Да, он успеет сходить к Лореньке, он ей все выскажет. Читает про себя стихи Некрасова („я кручину мою многолетнюю на родимую грудь изолю“ и пр.). Мать слышит, видит, что сын грустен, утешает его, убеждая верить в успех своих ученых занятий.

¹⁾ Лишь впоследствии на многих страницах выясняется, что это хрустнули карманные часы героя, нервно сжатые им в волнении. Выяснение ведется героиней-собеседницей путем заключений от наблюдений над раздавленным механизмом.

А сын продолжает думать о своем: он „залез в грязь“, он увлекся теорией о цивилизации, как результате борьбы человека против зла; он возмущается этой теорией, где источником добра является зло. Опять стихи Некрасова: „Я гибну и ради спасения я твою призываю любовь“... Мать умиляется. Упрекает, почему он не хотел учиться петь. Сын объясняет, что не хотел никакой светскости, потому что „не хотел поддаться влечению влюбиться“. Разговор, цепляясь, переходит к стихам Лермонтова „На воздушном океане“. Мать толкует их, как требование от девушки сдержанности, отказа от любви. Такова, по ее мнению, Лоренька. Сын думает о потребности любви у Лореньки. Разъясняет матери, что такая аскеза, какую он видит в стихотворении Лермонтова, есть не что иное, как выражение стоического мировоззрения, которое в свое время было обусловлено историческими обстоятельствами. Сын думает о положении женщины: женщины-рабыни, любимая дочь—Лоренька для матери не то, что сын, т. е. он сам. Думает он, как умна Лоренька, как она тонко разгадывает его мысли. Мать спрашивает, почему сын не курит при ней. Сын отвечает, что это было бы ей вредно; правда, они здесь сейчас на воздухе, но для дурного дела не нужно делать исключений, не нужно его начинать. Мать соглашается.

Далее беседа идет уже о том, как легко женщине от невинных ласк скатиться к пороку. Мать спрашивает, чист ли он сам. Тот отвечает указанием на верность своим убеждениям. Разговор опять возвращается к отношениям между матерью и сыном: послушен ли он? Сын доказывает, что он упрям. Он не хотел светскости и настоял на том, чтобы уклониться от нее. Попутно характеризуется, что такое светскость.—Появляется кучер. Мать собирается уезжать. Нужно со стола убрать акварельную картину, мать приглашает сына посмотреть. Сын подходит, нагибается, снимает очки. По этому поводу разъясняется сущность близорукости. Далее идет речь о достоинстве рисунка, о лондонских акварелях, о взыскательном художественном вкусе сына. Оказывается, этот рисунок предназначался на лондонскую выставку. Сын признал картину прекрасной, она лучше лондонских. Сообщается, что это рисунок Лореньки, удивляются ее успехам. Мать продолжает сборы. Ей нужно передать дочери бриллианты, нужно снести их в „Оранжерейную“. Описывается „Оранжерейная“. Там живет семейство сектантов, которых когда-то освободила из тюрьмы Лоренька. Говорится о составе семейства, об идеальных отношениях между его членами. Простые люди, идеальной честности, родители умны, но просты, дети—дочери и их мужья—образованы. Семейство заведует садом усадьбы. Они—идеальные садовники.

Нужно позвать Лизу—служанку, чтобы она отнесла бриллианты. Лиза, бедная девушка, продана была дурной матерью какому-то негодяю. У нее был ребенок—выкидыш. Ее отдали под суд. Ей благодетельствует Лоренька. Она много трудится. Лизы нет: она ушла на именины. Послать некого. Сын берется снести бриллианты. Мать не соглашается принять его любезную услугу, не хочет отнимать времени у сына. Сын убеждает, что он и без того пойдет к сестре. Мать не верит. Просит послать дочь кучера Таню. Таня не может. Она заперта в чулане родителями за шалости. Мать упрекает кучера. Тот защищается. Сын опять говорит о своем желании пойти к Лореньке. Мать не соглашается, ему не за чем идти к Лореньке, ему не о чем с ней говорить. Сын думает про себя об узости понятий матери, унижающей Лореньку в своих мыслях лишь потому, что она дочь, а не сын. Кучер предлагает позвать слуг-стариков, которые находятся около, и их послать с бриллиантами к Лореньке. Сын в своих

мыслях наперед разгадывает,—устроится дело со стариками или не устроится, и исходя, как из предпосылок, из характера матери и обстоятельств, в которых находятся старики, предсказывает логично, что дело не устроится. Между тем старики подозревали. Но Антонина Михайловна (мать) не послала Тих: „не хочу утруждать“. Старики с кучером ссорятся. Один из них собирался ехать в город вместо кучера. Кучер этого не хотел. Сын думает про себя: почему он не уходит, как это глупо, он деликатничает до нелепости. Вспоминает, какие письма он получал от матери и, не читая их, какие писал письма ей в ответ.

Между тем ссора между стариками и кучером продолжается. Они большие резонеры и очень много говорят о мотивах своих желаний и поступков. Общий вывод: всякий о себе думает прежде всего. Это высказывает мать. Сын про себя думает, что это не всегда бывает так, вот Лоренька прежде думает и заботится о других.— Мать опять просит прислать Лизу. Отец кучера (один из стариков) учит Антонину Михайловну, чтобы она Лизу не „пилила“, т. е. не беспокоила бы своими наставлениями. Попутно раскрываются требования, какие в народе предъявляются к поведению девушки и замужней женщины („честь“, „соблюдение себя“ требуется только от замужней женщины, но не от девушки). Покончив обстоятельный разговор о женской чести, кучер идет выпустить из чулана свою дочь Таню. Между матерью и сыном, оставшимися снова вдвоем, завязывается новый разговор: почему в этот день женская прислуга оказалась отпущенной, кто будет обед готовить? Может ли это сделать Лоренька? В похвалу Лореньки описываются ее руки, нужно большое искусство, чтобы сохранить их мягкую нежность. Кучер приходит сообщает: нет Тани, она убежала. Опять вопрос кому идти. Кучер пошел за своими ребятишками, которые где-то играют в лесу.

Мать и сын опять беседуют. Мать доказывает сыну, как его все любят. Рассказывается прошлое семьи и обстоятельства воспитания героя. Попутно упоминается женщина с „прошлым“. Мать в негодновании на нее, не хочет даже называть ее имени. Сын не согласен с нею, он уважает эту женщину. Он просит мать „переменить разговор“. Опять возвращаются к тому, почему прислуга отпущена, попутно опять вспоминает о руках Лореньки. Мать пространно рассказывает, как Лоренька собиралась печь хлеб для брата (т. е. для героя) и как ее до этого не допустили ее друзья. По поводу какого-то печального воспоминания мать расплакалась. Она рыдает и сдерживается: „Володя, произнесла она через несколько времени, задыхаясь от рыданий... выдумай что-нибудь... веселое“... Эта просьба делается по совету Лореньки: когда хочется плакать, нужно вспомнить что-нибудь веселое. Наконец, она улыбнулась. С улыбкой замечает, что ей надо беречь глаза, иначе неудобно ехать с визитами. Женщина должна стараться быть красивой. Пожилая женщина тоже имеет свою красоту. Спрашивает сына, беспристрастен ли он в оценке блондинок и брюнеток, не переоценивает ли он брюнеток ради того только, что его любимая сестра брюнетка. Сын говорит, что она этими словами обижает в нем его беспристрастие, как ученого.

Мать рассказывает о каком-то семейном бале, куда одна из близких девушек-блондинок отважно, вопреки принятым приличиям, явилась в закрытом платье. Далее разъясняется, что явиться на бал в закрытом платье, куда все ходят в открытом, для этого тоже нужна воля и чувство самостоятельности. Эта красавица-блондинка—Габриэлла Платоновна, самый близкий друг Лореньки. При воспоминаниях о Габриэлле Платоновне сын размышляет о ее бескорыстной любви к Лореньке, о ее средствах и о своем

решении никогда не жениться и те суммы, которые ему предназначались для женитьбы, отдать на приданое Габриэлле. Жениться же ему нельзя потому, что с ним „нельзя говорить ни о чем личном“. Он не умеет жить личной жизнью. Опять, скользя, разговор переходит к должному пониманию „женской чести“. Среди близких есть Фанни—танцовщица. Для матери профессия танцовщицы—нечто несомненно предосудительное. Сын не согласен. Между тем кучер возвращается. Он детей не привел. Попутно в разговоре кучер высказывает, почему он не пожелал, или не мог привести детей: дети непринужденно веселились, и он не хотел мешать их хорошему настроению.—Бежит дочь кучера Таня, измазанная глиной; она подкопала стенки чулана и убежала. Жалуется на родителей. Ее упрекают в шалостях. Дается несколько советов разумного воспитания.

Наконец, по некоторым движениям сына (он запер свою комнату ключом) мать догадывается, что сын, действительно, сам, своей волей, не по ее просьбе, хочет идти к сестре, и поручает ему отнести сестре бриллианты. Опять приходит кучер и резонерствует об общей ошибке: бриллианты не следовало посылать, за ними должны были прислать, об этом легко было догадаться, и лишь потому, что мысли спутались, наделано было столько лишнего и ненужного. Мать мягко упрекает сына за то, что он ей не указал, как разумнее было поступить. Сын, оказывается, этого не делал из деликатности. Выясняется, в чем тут состояла его деликатность. Далее разговор еще несколько раз возвращается к вопросам должного воспитания (образец—дети в вышеописанном сектантском семействе, которые воспитывались по указаниям просвещенной Лореньки), должной женской красоты (какая из упомянутых в разговоре женщин красивее) и должном отношении к женской свободе. На рассказе матери о некоей дурной женщине сплетнице повествование первой части обрывается.

Чтобы дать представление о характере повествования в „Отблесках сияния“, мы не нашли иного пути, кроме этого пересказа хотя бы только одной первой его части¹⁾. Нет движения. Разговор ведется в каком-то случайном, попутном, чередовании. Все это, очевидно, должно было дать иллюзию живой беседы. Но здесь нет искусства непринужденного диалога. Реплики тяжелы, ежеминутно превращаются в подчеркнутое резонерство, в пространную морализацию. Темы меняются беспорядочно, ни одна из них не захватывается в достаточной глубине, все течет, скользит, вновь возвращается, ничего не углубляя и не упорядочивая. Общий стиль тяжелый и многословный. Можно было бы привести примеры многословия, необычайного и для Чернышевского. Психологический рисунок элементарен, тяжеловесен и бесконечно претенциозен в громоздкой рационализации каждого слова и движения. Читается вещь необыкновенно тяжело.

Во второй части, озаглавленной „По дороге в Будуар“, продолжается та же манера. „Будуар“, это—часть сада, где живет Лоренька. Герой отправляется туда, по пути встречается с одной из дочерей упоминаемого в первой части сектанта-садовника. Завязывается разговор опять о Лореньке, о ее постоянной занятости (на ней все хозяйство усадьбы), о необходимости ее спасти, о средствах к спасению и пр. Попутно описывается и сад, и дом, и фрукты. Рассказывается о рациональной, идеальной постановке хозяйства в саду и на фруктовой фабрике. Герой отмалчивается. Это дает повод его собеседнице разгадывать его мысли: опять пространно комментируются

¹⁾ Пересказана половина „Отблесков“, т. е. страниц 80—85 печатного текста.

все жесты, все позы, все случайности недавних впечатлений. Собеседница столь умна, что мало ошибается, ошибаясь, скоро поправляется и, рассуждая „логично“, угадывает намерения героя. Частью он сам ей себя объясняет. А намерение все то же: нужно спасти Лореньку, а спасти ее можно только, освободив ее от присутствия матери. Согласится на это Лоренька или нет? Почему согласится, почему не согласится? Как сделать, чтобы это было легко и ей и матери? На этом держатся десятки предположительных логических, рассудительных соображений. Вот одна неверная предпосылка и все рушится. Опять начинается сначала, и вновь, и вновь до тех пор пока все условия не откроются в беседе полностью и тогда для умного человека все становится ясным: „иначе и не могло (или „не может“) быть“. — Наконец, эта собеседница уходит, является другая, ее сестра, с этой начинается опять разговор, опять тонко распутываются психологические нити настроений, хотя и в другой области. На этот раз речь идет о девушке, которая нравится герою больше всех. После множества разных сплетений, отступлений и логических ходов, собеседница указывает эту девушку. Герой соглашается: „Логично. Все совершенно верно“. Этим замыкается вся рукопись.

4.

В обрисовке разных, и беседующих и упоминаемых в беседе, персонажей, в рассказе о их прошлом, в характеристике их поведения в настоящем, определенно сказываются оценочные симпатии и антипатии автора. Кроме того, в оценочное обсуждение поступков или спорных случаев жизни вступают сами персонажи. И здесь всеми приемами диалектического искусства доказывается правильность или неправильность той или иной точки зрения. Отметим особенность повествования, отличающую сибирскую беллетристику Ч. от „Что делать?“ Здесь уже нет откровенных лирических авторских пояснений и призывов, нет явно обличающих или прославляющих надписей. Это возмещается другим и тоже привычным для Ч. путем. Слишком достаточно комментируют себя и других сами собеседники персонажи.

Наиболее постоянной темой является вопрос о положении женщины. Сюда приводят и ситуации, в которых экспонируется беседа, и судьба персонажей, которая раскрывается через биографические справки, рассыпанные там и здесь. Нового, по сравнению с тем, что известно было из других произведений Чернышевского, здесь ничего нет. Отстаивается свобода внутренней жизни каждой отдельной личности, как бы ни были тесны и близки ее связи с другой личностью. Рядом с этим настойчиво и выпукло выдвигается поощрение и пропаганда женского труда в самых различных областях.

Идеальной фигурой во всех отношениях является Лоренька, образец всяческих совершенств. Лоренька, это — дочь владелицы поместья, в котором разворачивается действие (если можно назвать „действием“ беседы и рассуждения двух—трех лиц). В её ведении находится организация и управление всем хозяйством усадьбы. Сама она не показана. В романе присутствуют только „отблески“ ее „сияния“. Но к ней направлены все мысли и восторги остальных лиц, и от неё исходит все счастье, роскошь и красота, которая всех окружает. Она же является главной устроительницей и духовного мира каждого из персонажей. Все, что есть хорошего в людях, связанных с усадьбой, все это возникло и развилось при благотворном влиянии и руководстве Лореньки. Она прекрасная хозяйка, образованная, предусмотрительная, самоотверженная, предупредительная, а, главное, идеально рассудительная. Все, что она делает, всякое влияние, какое

она оказывает на других, все это, в конце концов, ведет к благополучию и усовершенствованию хозяйства, с одной стороны, и внутреннему миру и счастью всех окружающих, с другой. Всякий, кто с нею сталкивается, усваивает ее идеальный образ мыслей, заражается ее благородством, честностью, серьезностью в намерениях и исполнительностью в труде. Поэтому в усадьбе господствует идеальный порядок, все идет по строго рассчитанному плану, без праздности, но и без переутомления, при постоянном-серьезном взаимном благожелательстве между всеми лицами, участвующими в общем труде и общем покое. Это не есть социалистическое царство, здесь есть господа и слуги, на фабрике работают наемные рабочие. Но все это обставлено и организовано таким образом, что ни в ком не вызывает недовольства.

Те, кому Лоренька успела дать образование, все столь же прекрасны, как и она сама. Их понятия светлы, ясны и лишены всякой необдуманности. Таковы молодые члены семейства садовника-сектанта: молодые женщины, их мужья и их младшие братья и сестры. Старшая половина семейства, главным образом, родители, уступают детям в решении всяких вопросов, которые ставятся в ежедневной жизни усадьбы. Они искренно признают авторитет младших, как более образованных.

Единственная печаль и горе всех членов усадьбы, это—сознание неустроенности судьбы самой Лореньки. Ее постоянные заботы, постоянная самоотверженная занятость не оставляет места для ее личной жизни. Настроение самой Лореньки остается пока неизвестным, но все ее друзья (а у нее все—друзья) жалеют ее и думают только о способах, как бы вывести ее из такого положения, открыть ей путь для личной жизни. Препятствием к этому является ее мать. Она не отличается ни особенным деспотизмом, ни самоуправством, в ней нет ничего жесткого, бессердечного и упрямо эгоистического. Наоборот, ее сердце мягко, уступчиво, она всегда старается быть ко всем внимательной и предупредительной. Но она женщина старого поколения, ее уму свойственны предрассудки. И этот недостаток ясности в мыслях создает путаницу в ее отношениях к людям. Она любит одинаково и дочь (Лоренька) и сына (сам герой). Но по старинному предрассудку она все же во всем предпочитает сына, перед сыном благоговееет, дочь во всем отодвигает на второе место, меньше ее жалеет. Благодаря этому получилось, что сын оказался свободно предоставленным самому себе, а дочь (Лоренька) должна была взяться за управление хозяйством. И та, при своей деликатности, и при искренней любви к матери и брату, оказалась вся поглощенной заботами о них, об их благоустройстве. Отказаться от этого она не может, потому что это помешало бы счастью любимых. Положение оказалось безвыходным, и все разговоры и мысли сына и его собеседниц (кроме матери) направлены к тому, как бы это положение изменить.

Мать вообще служит пунктом, к которому направлены всяческие „возражения“. Ее поступки и мысли являются поводом к тому, чтобы развернуть новые мысли, новое более ясное и свежее понимание вещей. Споров с матерью нет. Возражения идут весьма деликатно, чтобы ее не приводить в ужас сознанием нелепости ее же собственных понятий. При ее мягком сердце, полное сознание своих ошибок было бы для нее смертельно. Но все же возражения есть, и в них ощущаются наиболее острые сгустки публицистического элемента, который содержится в романе. Сюда прежде всего относится защита женского достоинства и свободы. Всюду женщины ни в чем не уступают мужчинам и даже по качеству результатов своей деятельности

превосходят над ними. Сама Лоренька поставлена во главе всей идеально-благоустроенной жизни усадьбы. Дочери садовника умны, образованы и с идеальной умелостью и спокойствием ведут свои занятия. Между тем, мать, при всем искреннем расположении к дочери и к ее подругам, считает, что сыну, ученому человеку, не о чем разговаривать с сестрой и тем более с ее слугами—дочерьми садовника.—Такое же „возражение“ вызывает отношение матери к слугам. Она „привыкла думать“, что слуги, как бы они хороши ни были по своим личным моральным качествам, все же всегда корыстны, и при ведении хозяйских дел всегда умеют извлекать какую-то тайную прибыль, кое-что оставляя для себя из хозяйских доходов. Так она высказывается о семье садовника, которая, равная с „господами“ по образованию, бескорыстно отдается общим заботам и общей любви к Лореньке. Ни сколько не злобствуя и даже любя их, этим неодолимым предрассудком мать все же унижает их.

То же самое в отношении к так называемым „падшим“ женщинам. Сохраняя к ним ровное и даже благожелательное отношение, особенно к тем из них, которые не принадлежат к обеспеченному кругу и с которыми этот „грех“ случился благодаря грубым, тяжелым нравам и условиям их среды, она все же не считает их равными в той доле уважения, на которое имеет право всякая личность. Против такого выделения „падших“ возражают все „рассудительные“ персонажи „Отблесков“.

Что касается самого героя, он, с точки зрения автора, повидимому, не является вполне идеальным. При полной завершенности главного достоинства, которое всегда особенно выделяет Ч., именно при идеальной „рассудительности“, он не вполне решителен и настойчив в своих поступках. Он слишком деликатен и уступчив. Правда, уступчивость его всегда строго обоснована, но поступки его все же остаются слишком медлительными. В этом смысле он и сам себя много раз разъясняет.

Трудно определить, в какой общей концепции должны были слиться отдельные тематические мотивы романа. Все многообразие тем, какое дают имеющиеся две части „Отблесков“ (т.-е. только начало какой-то большой вещи), остается пока не объединенным и не заостренным в направлении какой-либо единой и обобщающей мысли.

По сравнению с „Что делать?“, „Отблески сияния“, как и вся сибирская беллетристика Чернышевского (кроме некоторых страниц „Пролога“), характеризуются резким снижением элемента, относящегося к области его социальных требований. В „Отблесках“ был повод развернуть социалистический идеал общественного устройства. В усадьбе живет целое содружество близких и взаимно расположенных людей, занятых одним делом. Но организация общего труда и вообще уклад совместной жизни дан в формах, далеких от социализма; социалистический идеал ни на минуту не появляется даже в виде стремления, о нем совсем не упоминается. Все благоустройство пока ограничивается восьмичасовым рабочим днем для наемных рабочих, общей гуманностью и рационализацией технического оборудования.

Здесь так же снижена и ослаблена критическая часть, сглажен элемент сатиры. Те приемы иронии и комической сатиры, которые придают роману „Что делать?“ тон страстности и резкой непримиримости, здесь уже не имеют места. Нападки идут здесь по отношению к матери героя и героини, как к носительнице еще живущих в ней предрассудков и предубеждений. Но образ ее все же облагорожен

сердечной мягкостью, искренней доброжелательностью по отношению ко всем окружающим. Здесь речь идет не о злой воле, не о насилии старших над младшими, не о самодурстве, как в „Что делать?“ (Мария Алексеевна, мать Сторешникова и др.). Источником зла, как и там, является недостаток понимания и рассудительного отношения к вещам. Но этому злу приданы не столь прямолинейные формы. Отношения матери и детей здесь нам скорее напоминают юношеский проект повести на тему, „как трудно человеку следовать своим убеждениям“.

В „Отблесках“ немалое место уделяется еще одному элементу, который нельзя не отметить. Каждый из персонажей, не исключая самых серьезных и рассудительных, очень много интересуется вопросами женской красоты, женского наряда и вообще всяческого внешнего убранства. Лоренька—идеальная красавица, и об этом ведется речь не раз и не два, а почти всякий раз при ее упоминании. К ее красоте у всех отношение восторженное, благоговейное. Красивы и все другие женщины. И об этом тоже упоминается часто. Женщины в этом отношении сопоставляются между собою и с основательностью расцениваются достоинства каждой. Вопрос о преимуществах блондинок и брюнеток здесь занимает не последнее место и решается авторитетом ученого беспристрастия (оно воплощено в самом герое). Преимущество отдается брюнеткам (Лоренька—брюнетка), но и блондинки не оказываются обиженными. Красота рук, постава лица, бюста и всей фигуры указывается и сравнивается по пунктам. Тоже и в нарядах. Род материи, цвет платья, его общий фасон, отделка, украшения, бриллианты и другие драгоценности в описаниях и разговорах фигурируют не раз. Правда, здесь отмечаются самые общие черты, особой изысканности и тонкости в наблюдениях и рисунке нельзя отметить, но то значение, которое всему этому придается со стороны идеальных персонажей романа, и сама значительность тона, которым об этом говорится, свидетельствует, что Ч. в „Отблесках“ все это считал пунктом немаловажным.

В беллетристике Чернышевского это не является вполне новым. Заметное место женскому наряду было отдано уже в романе „Что делать?“ В „Прологе“, где речь идет о жене Волгина, тоже с большим вниманием говорится об ее внешней эффектности и о преимуществах ее наружности и наряда сравнительно со всеми другими женщинами. Волгина является предметом всеобщего любования. Ее костюм, прическа, манеры и общее убранство являются верхом такта и вкуса. В „Отблесках“ этот круг замечаний только усилился и выдвинулся.

Общим взглядам Чернышевского это не противоречит. Для него важно, чтобы эта сторона не превращалась в самоцель, чтобы внешнее веселье, красота и роскошь не заслоняли серьезных задач человеческой жизни, чтобы из-за этого не забывалась область труда и мысли. Но все же этот элемент в „Отблесках“ (как и в „Что делать?“ и в „Прологе“) не имеет органического гнезда. Пафос костюма и внешнего убранства приходит сюда как-то со стороны. Он не вырастает в круг главных настроений и мыслей. Однако автор всегда сочувственно или поощрительно входит или старается войти в этот мир. Даже главный герой „Отблесков“, человек книжный, всегда рассеянный, здесь является веским, авторитетным, рассудительным арбитром. Нам представляется, что здесь неслышно витал дух Ольги Сократовны. Чернышевский сливался с ее вкусами и, любя ее, разделяя ее интересы, ласкал в воображении то, что она любила.

Сказалось здесь, вероятно и то, что Ч. рассчитывал на интерес к роману в широкой публике и, очевидно, этот элемент для любителей легкого чтения считал наиболее привлекательным.

Мих. Никол. Чернышевский в предисловии к переписанному им тексту романа заметил, что герой его явно автобиографичен. Действительно, жалобы на свою слабость и излишнюю деликатность в обращении с людьми мы встречаем в его дневнике. Сближает Ч-го с его героем также и та рассудительность, которую в себе Ч. столь ценил. Иногда герой напоминает Добролюбова („не хотел поддаваться влечению влюбиться“), иногда Некрасова („Я гибну и ради спасения я твою призываю любовь“). Возможно, что при обрисовке отношений между властной любящей матерью и слабохарактерным сыном, Чернышевскому припоминались отец Ж.-Санд и его мать m-me Дюпен, как они обрисованы в ее автобиографии (*Histoire de ma vie*), перевод которой Ч. в свое время печатал в „Современнике“. Заметим, что на автобиографичность указывает также место действия романа. Те общие линии, которыми оно обозначено, напоминают местечко около Саратова. Но это лишь место, где находится усадьба. Сама усадьба очерчена исключительно в чертах утопической фантастики (благоустройство, роскошь, обилие, красота, разумность плана и пр.).

5.

„Отблески сияния“ самим Чернышевским ценились, повидимому, очень высоко. В сопроводительном письме к Пыпину чувствуется убежденная уверенность, что роман будет иметь несомненный успех, и не только в русской публике,—он рассчитывал и на международный европейский интерес. Только так можно понять его слова: „Если нельзя печатать по-русски, то надобно перевести на английский и французский (на оба лучше) и напечатать в Лондоне и Париже—роман имеет настолько достоинства, что это даст деньги“. Очевидно, роман, переведенный на французский и английский языки, не мог рассчитывать на такое количество русских читателей, которое могло бы окупить издание и „дать деньги“. Конечно, здесь имелся в виду, кроме русского читателя, по крайней мере, французский и английский.

Откуда же должен был последовать успех? В какие победительные стороны своего романа Ч. верил?

Нет надобности приводить примеры и доказывать слабость художественного рисунка в „Отблесках сияния“ и вообще в сибирской беллетристике Ч. Это для всякого читателя представляется слишком очевидным. В общем его приемы и манера остались те же, что в романе „Что делать?“ Однако, то лучшее, что есть в том романе, здесь отсутствует. Нет того горячего лирического пафоса и глубокой убежденной призывности, которыми горят многие страницы „Что делать?“ Наоборот, резонерская стихия, растянутость, мелочная обстоятельность, сухость и схематичность фигур, однообразие, многословие и бесцветность в стиле,—все это в сибирской беллетристике выступает на первый план обнаженно, нисколько не скрашиваясь ни содержательностью тем и идей (кроме „Пролога“), ни личным пафосом взволнованного автора.

„Надо признать, писал Плеханов,—что за исключением романа „Пролог“, интересного уже потому, что он представляет собою нечто в роде воспоминаний, облеченных в беллетристическую форму, его сибирская беллетристика вышла неудачной. Едва ли она найдет много читателей. Рассудочность, эта отличительная черта „просветителя“, еще в детстве в сильнейшей степени свойственная нашему автору,—

доходит здесь до самой крайней степени и не только лишает действующих лиц признаков „живой жизни“, но отражается даже на их языке, который у всех один и тот же и у всех очень тяжел, вследствие их непобедимой склонности подробно анализировать и не менее подробно объяснять собеседнику каждый свой шаг и каждое свое душевное движение: они не живут, а все объясняют, почему им хочется жить так, а не иначе. Если, принимаясь за свои сибирские беллетристические произведения, Ч. ставил перед собой цель пропаганды, то цель эта, наверное, останется недостигнутой“¹⁾.

Как Чернышевский сам относился к художественным качествам своей беллетристики? Известно, что в главную заслугу романа „Что делать?“ Чернышевский ставил ценность высказанных в нем мыслей. В предисловии к роману он определенно заявлял, что художественного совершенства роман не имеет, а если будет читаться, то исключительно ради интереса к тем мыслям, которые там высказаны. Как же он думал о сибирской беллетристике? Могли ли у него быть какие-нибудь надежды на успех, когда он вынужден был заранее устранить остроту в идеологическом наполнении своих повестей? А успех ему был нужен, только при нем могла бы пойти та оплата, которой он ждал.

Очевидно, Чернышевский полагал, что его писания какими-то сторонами были способны увлечь читателя. Конечно, от хорошего содержания Чернышевский и здесь не отказывался. Содержательность, хоть и лишенная заостренных и самых интересных для Чернышевского пунктов, все же и теперь в его беллетристике должна была присутствовать. Он и здесь по преимуществу остается пропагандистом своих убеждений. Но не в одном этом он видел увлекательность своих повестей. Очевидно, в какой-то мере он верил в их художественное совершенство. В письмах к жене и к А. Н. Пыпину Чернышевский не раз обмолвился в этом смысле. Эти легкие, летучие похвалы своему художественному таланту читателями обычно принимались за шутку с его стороны. В примечаниях к соответствующим местам писем из Сибири сын Чернышевского, Михаил Николаевич, в этом смысле и давал разъяснения. К такому пониманию склонялся и Плеханов. Цитируя слова из письма Чернышевского к Пыпину: „талант положительно есть, вероятно, сильный“, — Плеханов добавляет: „Это последнее замечание, конечно, надо отнести на счет привычки Н. Г. Чернышевского подшучивать над самим собою“.²⁾ Манера подшучивать над собою у Ч., действительно, была. Но едва ли в этих случаях была шутка.

Совершенно немыслимо, чтобы Чернышевский, еще с юношеских лет так много и упорно писавший в области беллетристики, никогда ни на минуту не верил в свои художественные силы. Чернышевский и в теоретических взглядах не принадлежал к людям, совершенно отрицавшим всякую разницу между умно написанной статьей и хорошим поэтическим произведением. В специфических качествах искусства он всегда отдавал отчет. И, конечно, работая над повестью или романом, он прекрасно понимал, какие требования к нему в этом случае предъявлялись. И, безусловно, верил, что выполнение этих требований в какой-то мере ему посильно. Эта уверенность могла перемежаться минутами и периодами сомнений, но потом, если он брался вновь и вновь за беллетристику, это могло быть только

¹⁾ Г. Плеханов — „Н. Г. Чернышевский“. Спб. 1910 г., с. 70.

²⁾ *Op. cit.*, 70.

в том случае, когда уверенность в своих художественных силах к нему возвращалась. В юношеских дневниках Чернышевского находим выражения недовольства стилем, образами и вообще всем складом своих беллетристических писаний. При переделках он боролся с растянутостью, ложной аффектацией и другими недостатками,¹⁾ но здесь же встречаем и следы одобрительного отношения к своему таланту. „Когда писал и переписывал,—пишет он 19/II 1849 г.,—довольно легко придумывал ход событий и события, поэтому я стал считать себя способным к писанию повестей, между тем как раньше думал, что я не могу ничего выдумать—ни характеров, ни особенных происшествий, нет могу“.

В сибирских письмах Чернышевский не раз пишет о слабостях своего стиля. „Вам,—пишет он детям,—известно, я надеюсь, что собственно как писатель,—стилист,—я писатель до крайности плохой. Из сотни плохих писателей, разве один так плох, как я. Достоинство моей литературной жизни—совсем иное; оно в том, что я сильный мыслитель“²⁾. „Я плохой стилист“,—замечает он в письме к Пыпину³⁾. В том же письме, объясняя какие-то недоразумения в прежнем письме он опять несколько раз повторяет: „я плохой стилист...“, „я лишь плохой стилист...“⁴⁾ В письме к жене по некоторому случаю он объясняется более пространно: „Я очень плохой стилист. У многих, вероятно, у большинства читавших, была такая же иллюзия, как у слушавших меня: из-за содержания они забывали о том, какова форма изложения. Лишние подробности принимаемы были за глубину анализа, лишние примеры и сравнения—за необходимые для ясности. Но сам я судил иначе, и всегда знал, что я пишу плохо. И кроме того, что у меня всегда была растянутость, самый язык мой всегда был неуклюж. Это не язык Пушкина или Лермонтова, а Гоголя: неловкие выражения, неточность в употреблении слов,—т.-е. неумение подобрать для мысли соответствующие характеру ее слова и выражения—запутанность конструкции, периоды то по вершку длиною, то по десяти сажен;—словом, плохой язык“⁵⁾.

К стихотворному дару своему Чернышевский, повидимому, относился отрицательно, хотя и не всегда. Иначе нельзя было бы объяснить посланки Стасюлевичу и Пыпину для напечатания таких вещей, как „Гимн Деве Неба“ и стихотворение „Из Видвесты“. „Гимн Деве Неба“ он особенно ценил. Похвала ему была высказана уже в письме Стасюлевичу. В этом письме он характеризует свои произведения, которые обещается доставлять для „Вестника Европы“. Изображая недоумения читателя по поводу нового литературного имени Дензиля Эллиота,⁶⁾ он в уста этого воображаемого читателя вкладывает слова: „Что такое? Удивительно, что такое. Хорошее; правда; но что-то небывалое на нашей памяти“...⁷⁾ и т. д. Это сказано на ходу речи, в деловом письме к малознакомому человеку. Это не могло быть шуткой. И после Чернышевский настойчиво возвращается к этому стихотворению и вновь работает над ним. При обыске, который у него был сделан после попытки Мышкина освободить его, найдено было стихотворение „К Деве Неба“ „в нескольких им переписанных экземплярах“. Здесь

1) См. запись в дневнике 17/II.

2) 11 апр. 1877 г. Виллюйск. „Ч. в Сибири“, II, с. 123.

3) 25 февр. 1879 г. Там же, II, с. 51.

4) Там же, с. 64, 66.

5) Псевдоним, который себе избрал.

6) Виллюйск, 10 апр. 1883 г. „Ч. в Сибири“, III, с. 215.

7) Собр. соч., X, ч. I, с. 11. Подчеркнуто А. С.

же нашлись и другие стихотворения, которые тоже „предназначались для печати“ ¹⁾. Впоследствии, уже из Астрахани, в 1885 году, Чернышевский направляет „Гимн Деве Неба“ в редакцию „Русской Мысли“, где это стихотворение тогда же и было напечатано. ²⁾ Однако в уцелевшем сибирском беллетристическом наследстве стихи по количеству занимают весьма незначительное место. И сам Ч. не раз писал, особенно в последние годы сибирской жизни, что стихи ему менее удаются. Задумав поэму на мотивы старо-персидских исторических легенд и обстоятельно разработав уже ее „план“, он предлагает детям взять на себя труд „облечь его мысли русским ритмом“. „Вы оба, объясняет он свою просьбу,—хорошие версификаторы. У меня версификаторского характера нет“ ³⁾.

Так думал Чернышевский о своем стиле и о своих стихах. Однако это не мешало ценить свои повести, как поэтические произведения в собственном смысле этого слова. У него было особое убеждение. Быть может, для нас оно покажется странным. Качествам стиля в беллетристике он не придавал большого значения. В одной из выдержек мы уже видим, что свой стиль он сближает с гоголевским стилем, а между тем известно, сколь высоко он расценивал Гоголя, как художника. Для характеристики его художественной самооценки знаменательно уже это сопоставление себя с Гоголем. Очевидно, по его мнению, стилистические несовершенства не мешали его беллетристическим произведениям быть подлинной поэзией.

В этом смысле он до конца высказывается в другом месте. „Жаль, что я не в начале своей деятельности заметил истинное свое призвание: писать повести, романы, сказки.—Язык мой в них неуклюж; как у Гоголя, например. Но это недостаток маловажный. Все остальное, что нужно для хорошего сказочника—вроде Диккенса или Фильдинга, или, из наших Пушкина и Лермонтова (в их прозе) у меня есть в достаточно хорошем качестве и изобилии. Версификация не дана мне природою. Но проза моя—хорошая поэзия“ ⁴⁾.

Не может быть сомнения в том, что и в письме к Пыпину одобрительные слова, которые Плеханов принял за шутку, не могли быть шуткой. В письме давались сопроводительные пояснения к посылке, состоящей из беллетристических произведений. Чернышевский просит из посылки все, что позволят цензурные обстоятельства, сейчас же напечатать. Его планы идут дальше, в будущее. Он уверен, что ему скоро будет открыта широкая возможность печатать. Он намеревается и впредь посылать подобные же вещи, которые теперь посланы в качестве образца, и теперь рекомендует их, характеризует их жанр и основное содержание. И в заключение этих и всяких других, по преимуществу денежных, соображений прибавляет: „Много, много у меня наработано. Талант положительно есть. Вероятно, сильный“. Это не могло быть шуткой.

Оценка „Отблесков сияния“ идет в том же русле непоколебимого убеждения в высоких художественных достоинствах своего

1) „Ч. в Сибири“, II, 217.

2) „Русская Мысль“ 1885, № 7.

3) I, XI, 1881 „Ч. в Сибири“, III, 168—169. Однажды, сообщая жене о написанных им для нее поздравительных стихах, Ч. в заключение прибавляет: „А стихи весьма недурны. Пришлю тебе, когда написана будет вся поэма. Поэма будет такая, что от нее не отказались бы ни Лермонтов, ни Пушкин“ (18. III, 1875). Это стихотворение, как видно из письма, имело интимное назначение, и здесь неумеренность похвалы, возможно была только шуткой, как отметил это в примечании Мих. Ник. Здесь с таким пониманием можно согласиться.

4) Виллюйск, 10 марта 1883 г. „Ч. в Сибири“, III, с. 213.

творчества. Отсюда весь тон письма его к А. Н. Пыпину. Очевидно, уверенность в своем художественном таланте в сибирский период жизни у Ч. была весьма прочной и устойчивой.¹⁾

Для нас теперь „Отблески сияния“ имеют преимущественно биографический интерес. В них горит боль того глухого, глубоко-трагического одиночества, в котором проходили долгие, бесконечные годы вынужденной нечеловеческой замкнутости автора в самом себе. Все, что для него было дорогого и светлого, все, что ему давало радость участия в жизни, в чем он находил осуществление своей индивидуальности и получал счастье сознания своей общественной стоимости и примененности своего „я“,—все это было отнято и мерцало где-то далеко, призывно, но глухо и недоступно. Общественная деятельность была невозможна, обнаружение мысли и знаний запрещено, полезность для семьи—неосуществима... Непримененная жизнь оказывалась ненужной.

Сибирская беллетристика Чернышевского—это его грезы об осуществимости своего „я“, о возможности взять свое место в жизни, быть в общем хоре, обнаружить себя, внести свою долю участия. Внешне связанный и обессиленный, он мечтал и надеялся перекинуть свой голос за ограду и явить свою личность на общую арену и признание. Эти поэмы, сказки, повести и романы,—это все следы того отчаянного напора, с каким бился его дух о стенки стальной решетки. Здесь ему виделось какое-то оконце, единственное, где, может быть, удастся что-то протеснить и выбросить в мир хоть что-нибудь от себя. И все двадцать лет он сам себя убеждал, что и таким путем у него найдутся силы овладеть жизнью, взять возможное для него дело, завоевать признание и осуществить ту стоимость, которую искало и требовало его живое личное самосознание.

Без людей, без критики, без общения с литературным миром, за долгие годы, наедине с самим собой, в постоянной тоске и надежде, может быть, обманывая и успокаивая себя, он притупил критерии самооценки и поверил. За все годы сибирской жизни, беллетристика была для него единственным делом, где он верил в свою осуществимую полезность. И это было его жизнью.

Приложение 1.

Письмо Н. Г. Чернышевского А. Н. Пыпину, приложенное при „Отблесках сияния“.

Милый Сашенька,
целую тебя и всех вас.
Благодарю всех за любовь к Оленьке.

Это моя посылка. Здесь абсолютная тайна: Пусть будет так и в Петербурге; тогда возможно печатать. Если нельзя печатать по русски, то надобно перевести на английский и французский (на оба лучше) и напечатать в Лондоне и в Париже—роман имеет настолько

¹⁾ Позднее, по поводу повести „Вечера княгини Старобельской, Ч. писал В. Лаврову: „Она (повесть А. С.) хороша. Плохого ничего я не намерен печатать... А вкус у меня построже, чем у многих“. . Русск. мысль, 1914, ноябрь, с. 67.

достоинства, что это даст деньги. Продолжение будет через два, три месяца.

Это громадный роман, этот „Отдел второй, Общий эскиз“ и он лишь действительно эскиз, в котором сделаны легкие очерки главных контуров тем, которым счет — десятки и десятки, и которые или повести, или сказки (волшебные или просто фантастические) и целые романы. — Это будет „Отдел третий. Фантазии“

Главное содержание фантазий переносится в передовые страны, от Италии до Америки. Это цикл неизмеримо обширный.

Эту рукопись я советовал бы напечатать не дожидаясь продолжения. Псевдоним для подписи — какой угодно. Об этом вымышленном авторе можно напечатать в примечании к печатаемой главе какую угодно историю; например, он молодой человек, он умер; вот то из его рукописей, что отдал он в распоряжение нам; остальные его рукописи в руках у его родных и они обещали, разобрав их, отдать нам, или что-нибудь, что угодно, — лишь бы облегчить возможность печатания и сохранения тайны.

Деньги все отдать Оленьке

Жму твою руку

Твой Н. Ч.

Приложение № 2.

Заявление Д. И. Меликова в Академию Наук.

В императорскую Академию Наук

действительного члена Якутского отдела императорского русского Географического общества Дмитрия Ивановича Меликова

З а я в л е н и е.

Имею честь препроводить при сем в Академию Наук подлинную рукопись покойного Николая Гавриловича Чернышевского, под заглавием „Отблески сияния“, предполагая, что рукопись имеет известный интерес. Рукопись мне прислана в Якутск Николаем Гавриловичем в мае 1884 года, с посторонним лицом, о присылке же ее мне было дано личное обещание Николая Гавриловича, при посещении его лично в Вилюйской тюрьме весною 1883 года. Самим Николаем Гавриловичем я был уполномочен поступить с рукописью по своему усмотрению: передать Пыпину для напечатания, хранить, или уничтожить.

Если Академия Наук найдет рукопись подлежащею хранению в Академии; если рукопись будет отпечатана, то прошу отметить, что таковая прислана мною; в противном случае прошу рукопись мне возвратить. Во всяком случае прошу о получении рукописи меня уведомить по адресу: Якутск, члену суда, Дмитрию Иванову Меликову.

Д. Меликов.

9 февраля 1917 г.

Приложение № 3.

Из предисловия М. Н. Чернышевского к переписанной рукописи „Отблесков сияния“.

В начале 1909 г. я получил известие, что в Якутске нашлась рукопись повести Н. Г. Чернышевского „Отблески сияния“ и что владелец этой рукописи желает издать ее в Якутске под редакцией местного журнала „Якутская мысль“. По некоторым принципиальным соображениям я просил, чтобы эта рукопись была сначала прислана мне. Началась переписка, продолжавшаяся с перерывом несколько лет и закончившаяся лишь в марте 1917 года присылкою рукописи в Академию Наук. Владелец рукописи оказался член Якутского окружного суда, бывший прокурор и мировой судья, Д. И. Меликов, дававший довольно смутные объяснения того, каким образом попала к нему эта рукопись и уверявший сначала, что эту рукопись подарил ему сам Чернышевский. В препроводительном же письме в Академию Наук он говорит, что рукопись была прислана ему Николаем Гавриловичем „на усмотрение“ в мае 1884 г. (т. е. когда Чернышевского уже и не было в Сибири). Оставляя пока в стороне мои соображения по поводу таких объяснений, замечу, что, по моему мнению, это одна из тех рукописей, которые захватывались у моего отца при неоднократных обысках после попытки Мышкина. С этого времени отец мой уже не стал хранить своих рукописей и предпочитал сжигать все написанное им в Вилюйске...

.....

Мих. Чернышевский.

Февраль 1923.

Приложение № 4.

Письмо Н. Г. Чернышевского к А. Г. Кокшарскому.

Милостивый государь

Александр Гаврилович!

Те два ящика с книгами, об отсылке которых в Якутске я имел честь просить вас, отправлены мною в Окружное правление. Укладка книг была, по моей просьбе, произведена Г. С. Щепиным. Он, по моей просьбе, приложил к каждому ящику свою печать.

Ящики для отправки книг получены мною от Иннок. Ивановича Кондакова (почтосодержателя). Он ссудил меня этими ящиками под условием, что они оставлены будут у себя и сохранены тем лицом, к которому будут адресованы вами. Судя по вашим словам, я предполагаю, что вы адресуете их Д. И. Меликову. Итак, я покорнейше прошу вас передать Дмитрию Ивановичу мою просьбу, чтоб он сберег у себя оба эти, принадлежащие Иннокентию Ивановичу, ящика и отдал их ему (Инн. Ив-вичу), когда он приедет в Якутск на ярмарку и придет или пришлет кого-нибудь к Дмитрию Ивановичу за получением их. (Здесь они Инн. Ив-чу не нужны, почему он и просит не присылать их обратно сюда, а сохранять в Якутске до приезда его на ярмарку; тогда они будут нужны ему там для упаковки товаров).

Список посылаемым книгам находится на прилагаемом (я пришил его, чтоб он не вывалился) к этому письму на маленьком разграфленном листе. На местах, соответствующих уцелевшим и посылаемым книгам, выставлены цифры; где не выставлены цифры, там не достаёт книг (много их затерялось).

В одном ящике сложены книжки „Вестника Европы“, от начала годов и книжек его по списку до 11-й книжки 1880 года (включительно). В другом ящике поместились остальные книжки „Вестника Европы“ (от 12 книжки 1880 года и 9 книжки 1882 года (тоже включительно) и столько книжек „Отечественных записок“, сколько вошло в ящик; так как не могли поместиться все уцелевшие (у меня), то я оставил до другого отправления наиболее давние годы этого журнала, какие уцелели у меня; таким образом в этот другой ящик вошли книжки (считая с последних по времени) от 12-й за 1882 год до 12-й книги 1877 года (включительно).

(Те книжки „Отеч. зап.“ и „Вестн. Европы“ за 1882 год, которых нет в ящиках, повидимому, уже затерялись, у меня остаются лишь 10, 11 и 12 книжки „Вестника Европы“, о которых говорится в пост-скрипту).

Остающиеся у меня книжки „Отечеств. записок“ (по списку от 8-й книжки 1872 до 11-ой 1877 года включительно) я отправлю при первой возможности,—т. е. с первою же почтой, которая будет иметь удобство взять их.

Кроме „Вестника Европы“ и „Отеч. записок“ в один из ящиков вложена (для плотности того ряда книг) какая-то частичка какой-то книжки журнала „Знание“, он весь растрепан у меня; уцелела только небольшая кипочка, вырванных из него наиболее серьезных статей. Та статейка взята из этой кипочки.

Остальные статьи пришлю с тою же почтою, как и остаток „Отечеств. записок“. (Вложены также разрозненные листки и обложки от книжек „Вестника Европы“ и „Отечеств. записок“. Место для них в уцелевших книжках может быть и отыщется, при разборке более внимательной, чем сделанная мною. Кроме того, есть у меня несколько русских книг, сверх тех, которые взяли с собою Дмитрий Иванович и Павел Александрович и о которых я уже говорил им, что эти книги не нужны мне, которые тоже могут пригодиться для чтения, в Якутске больше, чем нужны для меня. Отправляю и их при первой почте, которая будет иметь возможность взять их (к сожалению, у меня уцелело их очень немного, всего три—четыре).

С истинным уважением и совершенною преданностью имею честь быть вашим покорнейшим слугою Н. Чернышевский.

9 мая 1883.

Р. S. У меня остаются: три последние книжки „Вестн. Европы“ за 1882 год, и те книжки „Вестн. Европы“ и „Отеч. записок“ за нынешний год, которые уже получены мною до настоящего времени. Через месяц, через два отправлю и их. Буду через месяц, через два по получении мною отправлять и те, следующие книжки „Вестн. Евр.“ и „Отеч. записок“, которые будут получаемы мною. — Н Чернышевский.

9 мая 1883.
